

В. Рыжаков

ПИСЬМО

Рассказ

/По Чехову/

«Здравствуй дорогой мой внучек, Константин Макарыч. Пишет тебе твоя бабушка, Елизавета Ивановна. Твоя божья коровка. Этак ласково ты называл меня в бытность, когда был еще вот такусеньким. Забыл, поди. Я тогда ходила в красном платье с белым горошком, вот ты, озорник, и звал меня божьей коровкой. А я и впрямь походила на нее. Черный платок и красное с горошком платье.

А нашу козу Машку, она паслась подле огородного плетня на веревке, ты звал Рогачем, поначалу боялся ее, пятнистую, рогатую, да бородатую, а потом, когда подрос, все пытался кататься на ней верхом, как на лошади. Она брыкалась. И с ней не ладили».

Елизавета Ивановна улыбнулась и, как в сладкий сон, провалилась в теплые воспоминания.

Он, ее единственная отрада, приезжал к ней каждое лето с самого младенчества. И она ждала его. Бывало, еще только-только сопреет снег, а она уже с затаенной надеждой поглядывала на осклизлую дорогу. Знала, что они с Зинаидой приедут не раньше конца мая и все-таки любой путник вызывал в ней радостное волнение. А если шли двое... А если женщина с ребенком... Она прихорашивалась, поправляла под платком волосы, одергивала платье и будто ненароком, будто по делу выбегала в деревню.

Тревога оказывалась напрасной и она, обиженная, смущенная и расстроенная возвращалась обратно.

- Ты чего это, Лизунька? – обеспокоенная ее печалью, участливо спрашивала соседка Авдотья.

- Да так... ничего... Хотела в лес за дровами, да раздумала.

- Нуть-ко, грязно.

- Грязно.

Господи, свою дочь Зинаиду она никогда не ждала с таким мучительным нетерпением. Может быть, она ее не любила?

Да не-ет, любила. И одевала, как барыню. И кооперативную квартиру ей купила. Сама вечно в фуфайке, а ей и шубу, и пальто, и шапку боярскую, и сапожки всякие разные, и туфли...

Не-ет, Зинаиде грех на неё жаловаться.

А что жизнь у нее не заладилась так в этом она, ее мать, не повинна.

А может повинна?

Елизавета Ивановна нахмурила брови. Оглядела свою убогую избу. Неприбранную кровать, гнилые подоконники, мутные стекла окон, обшарпанную печь, обшарпанный потолок, тяжелую входную дверь с косою заиндевелой щелью, дряхлые самотканые дорожки из разноцветных тряпок, чугуны, ухваты, рукомойник, помойное ведро под ним, вздохнула.

- Конечно, виновата. Избаловала.

Все деньги по осени отдавала ей. И от картошки, и от луку, и от скотины. А она... и тот муж не муж и этот никуда не годный. И с Макаром развелась, и Григория выгнала, и с Иваном не пошло. Выходит, дело не в мужьях...

Пьют...

А сама, прости меня Господи, оказывается тоже не проносила мимо-то. От того, слышь, и сгубла преждевременно.

Вспоминать о смерти дочери Елизавете Ивановне не хотелось. И тяжело и все давно отболело. Она глянула на темный лик Божей матери в переднем углу, перекрестилась и прошептала:

- Упокой ее грешную душу, заступница.

Перечитала начатое письмо и подумала: а о козе-то зазря я. Обидится еще. Ну, катался... экая важность. Мальчишка... Однако не выдержала, взяла карандаш и дописала: «А Машку я взяла у соседки малюсеньким

козленочком и вырастила специально для тебя, Костинька. Без молока-то поди-ко как плохо.

А наша Машенька доила по две литры. И когда ты простудился и заболел, я всеми ночами просиживала у твоей постели и отпаивала тебя горячими сливками. И масла тебе пахтала. И сметану с земляникой. Врач посоветовал. А земляника-то еще едва-едва проклевывалась, так я ее, милый, на Лысой горе на самой солнечной макушке по яголке собирала. И ты ничего, слава Богу, выздоровел. А то меня Николай Павлович все каким-то плевритом пугал. Я и ему масла напахтала горшочек. И все обошлось. И ты встал на ноги, и я отудобела.

Но недолго мы с тобой порадовались. Оно уж так: не живи, как хочется, а живи, как Бог приведет.

Лето выдалось в тот год тяжелое. Жара стояла несусветная. И хлеба пожгло, и в лесах пожары полыхали. А ты зачем-то забрался на баню, свалился и сломал руку. Да правую, да выше локтя. Гипс тебе положили, и ты вплоть до осени ходил раскорякой. Не умыться, не одеться, не ботинки завязать, не поесть.

Господи, так все лето я и ходила за тобой, как за дитятей. И умывала, и одевала, и обувала, и кормила с ложечки.

Но ты не думай, я все делала с радостью, ты ведь единственная моя кровиночка, дорогой мой Константин Макарыч.

Бывало, кормлю тебя, а ты, ох смышленный был, смеешься.

- Ничего, бабуля, скоро мы с тобой местами поменяемся. Ты состаришься, и мой черед наступит тебя кормить.

А я целую тебя и плачу, а сама думаю: ну, когда это будет и будет ли? Я ведь тогда в силе была. На меня и те поры еще вдовец, Сергей Иваныч, все поглядывал.

Но я своего Сашеньку, твоего деда, ждала. Он ведь в войну-то не погиб, а без вести пропал. А сколь потом таких пропавших возвратилось. Кто из плена, кто из лагерей.

Да и тебя, Костинька, жалко было. Ты и у матери, подь, намаялся до слез с пришлыми-то отцами. Приедешь ко мне, а у меня тоже чужой тебе дедушка. А он, может быть, и хороший, а все не родной.

Я-то ладно. Я бы пообвыклась. А тебе в чужой-то избе, хоть и в хорошей, неудобно и не вольготно показалось бы. Ты ведь у меня привык быть хозяином. Спал – сколько хочется, ел – коль вздумается. Наешься, напешься молока и со своими дружками-приятелями носитесь, как соловьи разбойники.»

Елизавета Ивановна устала. Онемела рука, онемели плечи. Озябли пальцы. Она уронила карандаш, поплотнее укуталась в телогрейку. Сунула руки в рукава.

Окно перед столом сплошь заиндевело, и Елизавета Ивановна бесцельно смотрела в это бледную муть.

Натерпелась она от своего соловья разбойника, понамучилась, понаплакалась. Особенно когда он попросил и к вину пристрастился. Да и как было не пристраститься-то с такой, прости Господи, матерью.

Каждый день бывало, и ложилась, и просыпалась в тревоге. А чаще и вовсе не спала. Лежала и слушала ночные шорохи. Скандал – вскакивала и бежала сломя голову, а тишина – опять страх: значит или свои сады с огородами оглаживают, или в соседнюю деревню подались – жди оттуда греха.

А однажды, Елизавета Ивановна до сих пор вспоминает тот случай с ужасом.

Девятый он кончил, аль – восьмой... не-ет – девятый. Год ему оставался.

Приехал он в то лето попозднее обычного, да не один, а с девчонкой.

- Это моя подруга, бабушка, знакомьтесь.

- Катя, - ручку протянула, а в глазах испуг, а ну как выгоню.

- Вы что поженились?

Она вздрогнула, а он загоготал.

- Считай, что так, бабушка.

Тут уж, помню, меня передернуло.

Ну, думаю, яблоко от яблони недалеко упало. Весь матушка родимая.

Та так же беззаботно отвечала:

«- Считай, что так, мама».

- А Зинаида-то знает?

- Знает, бабушка, знает.

- А твои родители?

И чего, старая, пыталась, возмутилась Елизавета Ивановна. Сама-то малолеткой тайком от родительницы убежала. А через месяц его, Сашеньку-то, на фронт забрали. Да так и пропал, как в воду канул. И осталась ты на веки вечные не вдовой, не мужней женой.

А туда же: а твои родители? Чья бы корова мычала...

А она ничего оказалась, потеплела в улыбке Елизавета Ивановна. Старательная. Воды натаскает, и полы намочит, и постирает, и погладит, и по огороду сручная. Что полоть, что поливать, что взрыхлять грядки. И он при ней посмирнел. Новые столбы к плетню врыл, крышу на избе подлатал, завалинки в подполе выправил.

Потом...

Что уж там между ними произошло – не знаю.

Пришла с работы – ее нет. И вещичек ее нет. Только резкий запах духов, да забытая косынка на пенном плече. А они с Грушиным Пашкой сидят и бутылка самогонки на столе.

- А Катя, - спрашиваю, - где?

- Уехала.

И меня взорвало. Помню: полезла ухватом в печь, а руки трясутся. Чугун с водой опрокинула, горшок разбила.

- А что б вас...

Выскочила из упечи и пошла их обоих ухватом-то обихаживать.

Они на улицу за огород, я за ними. Смотрю... и оторопела. За моим-то огородом в крапивном овражке, вроде как спрятанный, колесный трактор «Беларусь» с прицепом. И мои-то ухарцы, гляжу, прыг, прыг в кабину, завели и укатили.

- Свят, свят, - думаю, - этого мне еще не хватало. Трактор угнали.

Вернулись под вечер. Полный прицеп дров привезли. Да и дров-то хороших – березовых. Свалили за сараюшкой. В избу вошли. Усталые, потные, грязные. Умылись. Сели за стол. Я им ужин собрала.

Молчу, а саму колотит колотун. Сдержанно говорю:

- Ну, разбойники, сказывайте.

- О чем?

- Откуда дровишки?

Смеются.

- Из леса вестимо. На погорелке напилили. Лесник даже спасибо нам сказал за очистку.

- А трактор... Его у кого сперли?

- А трактор, бабушка, Елизавета Ивановна, наш собственный. Ты только дозволь нам его от дождя во двор поставить. У Пашки маленький, а у тебя отаринный – большой и свободный.

- Ага... Ваш значит... собственный... Вам его председатель колхоза подарил... Берите, ребятишки, катайтесь... Во двор значит... Спрятать.

- Да ты не горячись, бабка. Ты послушай. Мы же его из клюквенного болота выволокли. Он же там всю зиму и лето по самую трубу торчал. Пашка его еще в прошлом году осенью приметил. Мы его целый месяц откапывали. Дорогу под него из бревен мостили. У нас и свидетель есть. Васька тракторист. Я ему свой проигрыватель отдал. Он нам его и вытащил. А потом мы его разобрали, промыли, прочистили, просушили. А ты тюрьмой пугаешь. За что?

От сердца у меня отлегло, но сомнения не улеглись, гложут.

- А прицеп? – говорю.

Они загоготали.

- Так ты же его, бабушка, сама видела в овраге, когда мы лазили в него за ежевикой.

- Я там не прицеп видела, а железную раму с колесами вверх тормашкой.

- Так вот это он и есть.

- А не врете?

- Ба-бу-шка...

И я им поверила. Мало ли по пустырям у нас ноне валяется всякого брошенного железа. Вроде бы и ладного, и годного, а бесхозного и никому ненужного. Мокнет и гниет.

Думаю, этак-то, а у самой на душе все одно не спокойно.

Нуть-ко, трактор... не сеялка, не веялка, не культиватор и не детская коляска...

- А ежели, - говорю, - хозяин объявится?

Они опять хохочут.

- Объявится – бери. Заплати нам за вытаскивание, за ремонт, за проигрыватель и забирай.

Ну, думаю, и ладно. Однако червь какой-то точит и точит душу. Ладно-то, рассуждаю, ладно, да что-то вроде и не совсем ладно. Трактор в собственных руках...

- Ой, - говорю, - мальчишки, не миновать нам греха.

- Так он же ничейный, бабушка.

- Как ничейный – государственный. Выговорила я это слово, и сама от удивления оторопела. И обрадовалась. И облегчение небывалое почувствовала. Сбросила-таки с плеч эту проклятую железину – нашла хозяина. А мальчишки мои, гляжу, уставились на меня и бессмысленно глазами хлопают.

- Ка-а-ак, баб-ка?...

- А вот так, милые, говорю, этак. У нас все государственное.

- Выходит, что мы зазря его вытаскивали – мучились.

- Почему, говорю, зазря. Вам спасибо скажут, - а может и грамотой наградят. У меня, говорю, вон видите сколь их – вся изба оклеена.

Елизавета Ивановна покосилась на боковую стену и раздраженно сплюнула.

- Как иконостас, простим меня Господи.

Ох, чувствовало мое сердце, что добром это не кончится.

А они:

- Не бойсь, бабка. Мы и тебе и себе на нем денег заработаем.

А старичье в деревне обрадовались.

Да и как не обрадоваться: нуть-ко, мальчишки задарма и дров всем началили, и травы, и картошку с усадов, и сами усады унавозили и перепахали. Работали с раннего утра и до позднего вечера.

И у меня на душе отрада. Не озоруют, доброе дело делают.

Вдруг – хоп, милиционер Василий заявился.

И пошло, и поехало...

Что, где, когда?

Пашку с Костюшкой в районную кутузку.

Разберемся.

Жди... разберутся... держи карман шире...

Искали, искали хозяина трактора, да так и не нашли.

А Костюшка с Пашкой в каталажке парятся. Пришлось мне свести со двора кормилицу – Машку, а Пашкиному отцу, Степану, телушку.

- Отпустили, - выдохнула Елизавета Ивановна, - слава тебе Господи – мелко перекрестилась и взяла карандаш.

«- Давно ты не бывал у меня, родной, Константин Макарыч. Ох, давно. Как умерла твоя мать, царство ей небесное, как женился, так подь и не бывал. Я уж отчаялась ждать тебя. Все глазоньки проглядела на дорогу. Ты весь у меня один разъединственный.

Я не корю тебя, избави меня Бог. У тебя семья, дети, работа. А я, старая плетюха, чтой-то совсем расшаталась. По осени выкопала картошку и слегла. Студено было и я то ли настила, то ли переневолилась. Допреж я все на твоей детской коляске приспособилась справлять с усада в подпол картошку-то. А ноне сунулась – коляска-то сгнила. И ручка лопнула, и колесья оторжавели. Пришлось на себе по полмешка таскать. А сиверко, было ветрено. Несешь – вспотеешь, а пока идешь обратно, да копаешь – назябнешь. Ну, вот, и слегла. В больницу бы надоть. Но туда, до Чернухи-то, десять верст – рай дойдешь. Так на печи, на горячих кирпичах, с Божьей помощью, и отудобела. Сейчас ничего и слабость прошла, и голова не кружится. Одно плохо: провалялась – дров-то и не запасла. Как буду зимовать – бедовать – ума не приложу.»

Елизавета Ивановна поправила на голове, вытертую от времени, пуховую шаль, застегнула верхнюю пуговицу на телогрейке, подышала на озябшие пальцы.

«- А холода-то ноне ударили рано. И снег-то выпал еще до Покрова. А я, пока валялась, остатки дров спалила. До сего дня спасалась от морозов-то у Прасковьи. Ты ее, Константин Макарыч, чай, помнишь, хроменькую-то тетку Прасковью. Дом у нее маленький, тесом обшитый и голубенькой краской окрашенный, аккурат напротив меня, через дорогу. Бывало, когда я, куда отлучалась, завсегда тебя к ней отводила. Вот у нее я и жила. Сначала все погреться ходила. А потом и вовсе осталась. Вдвоем-то и охотнее, и веселее. А больше то во всей деревне по зимам-то почти что никого и нет. Верхнем конце деревни, у Волчьего оврага, верно, живет еще Софья Воробьева, но она уж совсем старая. Осенью ее хотел увезти в город племянник Шурка, да что-то не увез. Барахлишко кое-какое: самовар, иконы, сундук – увез, а за ней, сказывал, потом приедет, но что-то так и не бывал. А теперь снегу намело по самые окошки и каждый день пуржит и пуржит, за водой на Майданку не пробьешься, чего уж там... А она все ждет.

Мы с Прасковьей ее разок наведывали. Ничего. Бодрая. Чаем нас угостила.

А позавчера... ох, дорогой мой Константин Макарыч, подруга-то моя милая Прасковья-то умерла.»

Елизавета Ивановна уронила голову на письмо и беззвучно безутешно заплакала. Заплакала не столько от жалости и сострадания, сколько от горькой безысходности и беспросветности. Она знала, что Константин не приедет и не заберет ее к себе. И хотел он, да некуда ему забрать ее. Квартира у него однокомнатная, двое детей, да и к вину он, слышь, пристрастился. И писала она письмо из последней, как ниточка тонюсенькой и призрачной, надежды.

« - Вечером мы с ней, как обычно, чаю с сухарями попили, помолились и легли. И она – ничего, и я – ничего. Она – на кровати, а я – на печи. Она еще сказала: не забыть бы нам с тобой Лизунька завтра лук перебрать.

А утром проснулась я – она уж холодная. Обмыла я ее, обрядила – все честь честью. Надо бы в гроб положить, и он у нее есть – на чердаке припасенный, но мне одной-то снять его не по силам. Так и лежит она, милая, на кровати.

Дорогой мой внучек, Константин Макарыч, низко кланяюсь тебе, и твоей жене Любе, и детишкам твоим Юле и Машеньке и слезно, Христом Богом, молю тебя: найди ты Прасковьюину племянницу Ольгуньку. Она, слышь, где-то неподалеку от тебя живет в Сормове. Прасковья-то все ей отписала. И дом, и все имущество. Пускай приедет, похоронит, а то как ей непохороненной-то...

Еще раз низкий поклон вам всем и еще раз умоляю тебя, Костинька, постарайся уж, найди ты Ольгуньку, скажи ей.

Твоя бабка Елизавета Ивановна.»

Старуха облегченно выдохнула, постояла у окна, продышала на замороженном стекле пяточок и снова, но уже горестно, вздохнула.

- Пуржит, экую прорву снега намело.

Утопая в сугробах, сходила, проведала покойницу, набрала у нее во дворе охапку дров, вернулась домой, затопила подтопок, намыла чугунок картошки.

Подтопок рассохся и дымил.

В подполье шеберстели мыши.

Кошку она давно не держала – нечем кормить.

Старуха долго топталась подле стола – раздумывала: что же ей делать с письмом, но так ничего и не придумала. Аккуратно свернула в трубочку, обвязала лялочкой и убрала на божницу до ближайшей оказии.

Н-Новгород. Ильинская, 32 – 41

Тел. 33-13-23

Рыжаков В. С.